Откровенія смерти.

(Послѣднія произведенія Л. Н. Толстого).

... ὀρθῶς ἀπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδέν ἄλλο ἐπιτηδεύουσιν ἤ ἀποθνήσκειν καὶ τεθνάναι. *)

Платонг. Федонг. 64 А.

I.

Аристотель гді-то говорить, что у каждаго сновидца свой собственный мірь, у всіхъ-же бодрствующихь — одинь общій мірь. Это положеніе — основа не только Аристотелевской, но и всей, какъ до него, такъ и послів него существовавшей научной, положительной философіи. Оно-же считается непрерскаемой истиной и обыкновеннымъздравымъ смысломъ. Можеть-ли человікъ отказаться отъ самоочевидной истины? Не можеть, конечно. Значить, никто, даже самъ Богь, отъ него этого и требовать не вправъ? Deus impossibilia n n jubet— Богь не требуеть невозможнаго, — это тоже самоочевидная истина, на которой сходятся и положительная наука, и здравый смыслъ, и даже проникнутая мистицизмомъ въра католичества.

Но смерть съ этимъ не считается. У нея свои истины, свои очевидности, свои возможности и невозможности. Онъ не мирятся съ нашими обычными представленіями, и мы не умѣемъ постигать ихъ. Только исключительные люди, въ ръдкія минуты напряженнъйшаго душевнаго подъема научалются слышать и понимать загадочный языкъ смерти. Это дано было и Л. Н. Толстому. Что ему открыла смерть? Какія невозможности стали для него возможными? Въдь смерть, вопреки здравому смыслу, требуеть отъ человъка невозможности.

жил исъхъ людей это тайна: кто всецьло отдается философіи,
тотъ не стромится ни къ чему иному, какъ къ умиранію и смерти.

наго и, вопреки Аристотелю, вырываеть его изъ общаго всъмъ міра. Какъ это происходить? Какъ невозможное становится возможнымъ?

Среди посмеруныхъ произведеній Толстого есть небольшой, неоконченный разсказъ — «Записки Сумасшедшаго». Содержаніе его простое: богатый помещикъ, прослышавъ, что въ Пензенской губерніи продается имініе, ідеть осматривать его. Ъдеть и радуется: по его соображеніямъ удастся купить отличное имъніе за безцівнокъ, почти задаромъ. И воть, внезапно, по пути, во время ночевки въ гостинницъ, безъ всякой видимой внешней причины имъ овладеваетъ страшная, невыносимая тоска. Въ окружающемъ не произошло никакой перемъны, ничего не случилось, все осталось по-прежнему. Но прежде все внушало довъріс, все казалось естественнымъ, законнымъ, нужнымъ, упорядоченнымъ, дающимъ покой, сознаніе, что подъ ногами почва, что кругомъ реальность. Не было ни сомнъній, ни вопросовъ - были одни отвъты. Теперь-же сразу, мгновенно, точно по волшебству все измѣнилось. Отвъты, покой, почва, сознаніе правоты и сопровождающее все это чувство легкости, простоты, ясности — все пропало. Остались одни огромные и совершенно новые вопросы, съ ихъ въчными, назойливыми спутниками — тревогой, сомнинемъ и безсмысленнымъ, ненужнымъ, гложущимъ, но непреодолимымъ страхомъ. Были пущены въ ходъ обычныя средства, которыми люди отгоняють отъ себя тяжелыя мысли и настроенія, но они оказались непригодными. «Я пробоваль думать о томъ, что занимало меня: о покупкъ, о женъ. Ничего не только весслаго не было, но все это стало ничто. Все заслоняль ужась за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я легь, было, но только что улегся, какъ вдругь вскочиль оть ужаса. И тоска, тоска-такая-же тоска, какая бываеть передъ рвотой — но только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерть страшна, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Какъ-то и жизнь и смерть сливались въ одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще разъ пошель посмотръть на спящихъ, еще разъ попытался заснуть, все тотъ-же ужасъкрасный, былый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается». Такъ безстрашно обнажаетъ себя Толстой. Не у многихъ писателей мы найдемъ такую правду. И, если захотъть и съумьть увидьть эту правду — въдь и обнаженную правду увидъть нелегко - то возникаеть цълый рядъ роковыхъ и несоизмъримыхъ съ масштабомъ нашего привычнаго мышленія вопросовъ. Какъ принять эти вдруга явившіеся, безпричинные, красные, бълые, квадратные ужасы? Въ «общемъ для всьхъ мірѣ» ивть и не должно быть ни «вдругъ» ни «дъйствія безъ причины». И ужасы тамъ не бывають ни бълыми, ни красными, ни квадратными. То, что произошло ст. Толстымъ, есть угроза нормальному человъческому сознанію. Сегодня, вдругъ, безъ причины обезпокоился Толстой, завтра, тоже безъ всякаго основанія, обезпокоится другой, тамъ — третій, и въ одинъ прекрасный день зараза распространится на все общество, на всъхъ людей. Если серьезно принять то, что разсказано въ «Запискахъ Сумасшедшаго», то выхода иного нъть: нужно либо отречься отъ Толстого и отдълить его отъ общества, какъ въ средніе въка отдъляли больныхъ проказой или иной страшной прилипчивой бользнью, либо, если признать его переживанія «закономърными», ждать и трепетать ежеминутно, что и съ другими произойдетъ то-же, что съ нимъ, что «общій всъмъ міръ» распадется, что люди изъ бодрствующихъ обратятся въ сновидцевъ и у каждаго человъка не во снъ, а на-яву будеть свой собственный міръ.

Здравый смыслъ и выросшая изъ здраваго смысла наука не можстъ колебаться предъ такой дилеммой. Правъ не Толстой съ его безпредмстной тоской, безпричинными страхами и безумными тревогами. Правъ «общій міръ» съ его твердой вѣрой и прочными, вѣковыми, спокойными, всѣмъ равно доступными, исными и отчетливыми истинами. Если-бы рѣчь шла не о прославившемся на весь міръ писателѣ, — судьба Толстого была-бы рѣшена: онъ былъ-бы извергнутъ изъ общества, какъ больной и крайне для всѣхъ опасный человѣкъ. Но Толстой — гордость и слава Россіи, съ нимъ нельзя такъ рѣшительно поступать. Какъ ни явно нельпо и непріемлемо то, что онъ говоритъ, его продолжаютъ слушать, съ нимъ продолжаютъ даже считаться.

«Сегодня, —разсказываеть онъ дальше, —меня возили свидътельствоваться въ губернское правленіе, и мивнія раздълились. Они спорили и решили, что я не сумасшедшій. Но они решили такъ потому, что я всеми силами держался во время свидътельствованія, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому, что боюсь сумасшедшаго дома, боюсь, что тамъ мивпомъщають делать мое сумасшедшее дело. Они признали меня подверженнымъ аффектамъ и еще что-то такое, но въздравомъ умѣ. Они признали, но я то знаю, что я сумасшедшій «...

Песомивно, что не они правы, а онг. Толетой всю жизна чувствоваль въ своей душв что-то, что выталкивало его изъ «общаго міра». Онъ разсказываеть, что принадки, вродв того, который приключился съ нимъ во время повздки въ Пензенскую губернію, коть и рідко, но и прежде бывали. Уже въ раннемъ дітстві, по самымъ незначительнымъ поводамъ, имъ овладівало внезапно чувство ужаса, бурно и властно егонявшее естественное чувство радости бытія и покоя существованія. Лежить онъ въ кроваткі, ему тепло, уютно, спо-

койно, онъ думаеть о томъ, какіе всё люди хорошіе и какъ всё другь друга любять. Вдругь онъ слышить, какъ экономиа съ нянькой обмѣнялись нѣсколькими сердитыми словами, и все очарованіе, какъ бы по заклинанію злого духа, мгновенно исчезаеть. «Мив становится и больно, и страшно, и непонятно, и ужасъ, холодный ужасъ находить на меня, и н прячусь съ голоной подъ одѣяло».

Аругой разъ при мнѣ били мальчика. «И туть, - разсказываеть онъ, -- на меня нашло. Я сталь рыдать, рыдать и долго никто не могъ меня успокоить. Воть эти-то рыданія и были первыми припадками моего сумасшествія». Третій разь на него нашло, когда ему тетя разсказывала о томъ, какъ Христа мучали. Онъ сталъ допытываться, за что его мучали - но тетка не умъла отвътить, «И на меня опять нашло. Я рыдаль, рыдаль, потомъ сталь биться головой о ствику». Не одинъ Толстой — всъ люди бывали свидътелями ссоръ между близкими, всемъ приходилось видеть примеры жестокаго обращенія съ дътьми, всь читали и слышали о мукахъ Христа. Но ни въ комъ, по крайней мъръ ръдко въ комъ, наблюдалась такая бурная, безудержная реакція. Поплачуть и забудуть, впечатлінія сами собой потонуть и растворятся въ массь другихъ впечатльній. Но Толстому не дано было забыть. Впечатлінія дітства прочно засіли въ глубинахъ его души, онъ ихъ словно даже бережеть, какъ драгоценное сокровище, какъ нъкій таинственный платоновскій анамнезисъ, смутно свидательствующій объ иномъ, непостижимомъ бытіи. И они, эти впечатльнія, вь свой чередь ждугь только «сроковъ», чтобы властно предъявить свои права. Правда, развлеченія, забавы и заботы жизни, всь «дьла», которыми наполняется существованіе человѣка, отвлекали Толстого надолго оть его необычайныхъ виденій. И, затемь, какь онъ самъ разсказываеть, онъ инстинктивно боялся «сумасшедшаго дома» — и еще больше боялся сумасшествія, т. е. жизни не въ общемъ всемъ, а въ своемъ особенномъ міре. Поэтому, онъ дълалъ величайшія напряженія, чтобы жить, «какъ всь», и видъть только то, что не выбиваеть человъка изъ обычной колеи.

II.

[«]Зависки Сумасшедшаго» въ нѣкоторомъ смыслѣ могутъ считаться ключомъ къ творчеству Толстого. Если бы онѣ не были написаны самимъ Толстымъ, мы, съ нашими привычками видѣть въ великихъ людяхъ образцы всѣхъ не только гражданскихъ, но и военныхъ добродѣтелей, увидѣли бы въ нихъ кловету на Толстого. Онъ самъ, если-бы кто-нибудь за годъ или даже за день до начала его «сумасшествія» предста-

виль ему его жизнь такой, какой она изображена въ «запискахъ», глубоко возмутился и увидълъ бы въ этомъ тольке преступное желаніе запятнять его доброе имя. И, въ самомъ дълъ - самая злан клевета не сравнится съ той правдой, которую Толстой о себь разсказываеть. Онъ кочеть купить имъніе - по не хочеть за него платить настоящую цену. Онъ ищеть «такого дурака». — это его собственныя слова, который бы продать имъніе за безцівнокъ, такъ чтобы потомъ, продавши на срубъ лъсъ, можно было выручить столько денегь, сколько было уплочено за имѣніе, и чтобы имѣніе досталось даромъ. Такой дуракъ навърное найдется: на ловца и звърь бъжить. Толстой терпъливо выжидаеть, читаеть объявленія, собираєть справки. Или, если Богь не пошлеть дурака, Толстой отыграется на мужикахъ. Купитъ именіе въ такомъ увздв, гдв мужики всв безземельные: тогда будуть у него даровые работники.

Что разсказъ не есть вымысель и что помъщикъ, о которомъ идетъ ръчь - самъ Толстой, въ томъ каждый можеть убъдиться, прочитавъ письмо Толстого къ женъ *) (№ 63). Приведу его полностью: «Третьяго дня въ ночь я ночеваль въ Арзамась и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, на меня нашла тоска, страхъ, ужасъ такіе, какихъ я никогда не испытывалъ. Подробности этого чувства я тебъ разскажу впослъдствіи, но подобнаго мучительнаго чувства я никогда не испытываль, и никому не дай Богь испытать. Я вскочиль, вельль закладывать. Пока закладывали, я васнуль и проспулся здоровымь. Вчера это чувство въ гораздо меньшей степени возвратилось во время взды, но я быль приготовлень и не поддался ему, темъ болес, что оно было слабъе. Нынче чувствую себя здоровымъ и веселымъ, насколько могу быть безъ семьи. Въ эту потздку я въ первый разъ почувствовалъ, до какой степени я сросся съ тобой и дътьми. Я могу оставаться одинь въ постоянныхъ занятіяхъ, какъ я бываю въ Москвъ, но какъ только безъ дъла, я ръшительно чувствую, что не могу быть одинъ». Даже мелкія подробности вь письм'ь тв-же, что и въ «Запискахъ Сумасшедшаго»: и покупка имънія, и поъздка, и Пензенская губ., и городъ Арзамасъ, и «мысли о женѣ», и безпричинный, безумный страхъ...

Въ литературъ существуеть прочно установившійся обычай: показывать читателямъ только лицевую сторону жизни великихъ людей. «Низкія» истины намъ не нужны: что съ ними дълать? Мы увърены, что истины намъ нужны не сами по себъ, а лишь постольку, поскольку онъ бывають по-

^{*)} Письмо съ поъздки въ Пензенскую губ. для осмотра имънія, которое Л. Н. предполагалъ купить и не купилъ.

лезны для какого-нибудь «дъланія». Такъ составиль жизнеописание Достоевского Н. И. Страховъ — объ этомъ онъ самъ исповедуется Толстому въ опубликованномъ несколько летъ тому назадъ (въ 1913 г.) письмъ. «Все время писанія, разсказываеть онъ, - я боролся съ подымавшимся во мнъ отвращеніемъ, старался подавить въ себъ дурное чувство. Пособите мнъ найти отъ него выходъ. Я не могу считать Достоевскаго ни хорошимъ, ни счастливымъ человъкомъ. Онъ былъ золъ, завистливъ, развратенъ, онъ всю жизнь провель вь такихъ волненіяхъ, которыя бы ділали его жалкимъ и смъщнымъ, если бы онъ не былъ при этомъ такъ золъ и такъ уменъ. По случаю біографіи я живо вспомниль эти чувства. Въ Швейцаріи, при мит, онъ такъ помыкаль слугой, что тоть обидался и выговориль ему: «я вадь тоже человакь». Помню, какъ это тогда-же мив было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что туть отозвались понятія вольной Швейцаріи о правахъ человѣка. Такія сцены были съ нимъ безпрестанно, почему онъ не могъ удержать своей злости. Я много разъ молчалъ на его выходки, которыя онъ дълалъ совершенно по-бабы, неожиданно и непрямо, но и мнь случалось раза два сказать ему очень обидныя вещи. Но, разумъется, онъ вообще имъль перевъсъ надъ обыкновенными людьми, и всего хуже, что онъ этимъ услаждался, что онъ никогда не каялся до конца во всъхъ своихъ пакостяхъ. Его тянуло къ пакостямъ, и онъ хвалился этимъ. Висковатовъ (профессоръ Юрьевскаго университета) сталь мнъ разсказывать, какь онъ похвалялся, что... въ банъ съ маленькой дівочкой, которую ему привела гувернантка. Лица, наиболье на него похожія — это герой «Зап. изъ подполья», Свидригайловъ и Ставрогинъ. Одну сцену изъ Ставрогина (растленіе и пр.) Катковъ не захотель печатать, но Достоевскій здъсь читаль ее многимъ. При такой натурь онъ быль расположень къ сладкой сантиментальности, къ высокимъ и гуманнымъ мечтаніямъ, и эти мечтанія — его направленіе, его литературная муза и дороги. Въ сущности, впрочемъ, всв его романы составляють самооправданіе, доказывають, что въ человъкъ могуть ужиться съ благородствомь всякія мерзости. Воть маленькій комментарій къ моей біографіи; я бы могь записать и эту сторону вь Достоевскомъ; много случаевъ рисуется мнъ гораздо живье, чемъ то, что мною описано, и разсказъ вышелъ бы правдивке; но пусть эта правда погибнетг; будемъ щеголять одной лицевой стороной жизни, какъ мы это дълаемъ вездъ и во BCe.M3»...

Не знаю, много-ли найдется въ литературѣ документовъ, по своей цѣнности равныхъ приведенному письму. Не увѣренъ даже, понималъ-ли Страховъ смыслъ и значеніе того,

вь чемъ онъ признавался Толстому. Въ новое время многіе утверждали, что ложь цанные истины. Объ этомъ говориль О. Уайльдъ, Нитше, даже Пушкинъ воскликнулъ: «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обмань». Но всь они обращались къ читателю, поучали. А Страховъ просто и искренне кается, и это придаеть его словамъ особую силу и значительность. Вфроятно, письмо произвело огромное висчатльніе на Толстого, который какь разь въ это время особенно мучительно чувствоваль бремя условной лжи и весь быль охвачень жаждой очищающей исповеди. Ведь онъ самъ быль жрецомъ возвышающаго обмана и какого чарующаго, чудеснаго, захватывающаго! Онъ тоже, какъ и Страховъ, училъ людей щеголять лицевой стороной жизни и губить правду. Въдь онъ писалъ «Войну и Миръ» и «Анну Каренину» съ ихъ апооеозомъ помъщичьей жизни какъ разъ вь ть годы, когда самъ скупаль у дураковь задаромъ имънья, прижималь безземельных мужиковь и т. д. Все это было, было и еще многое, такое-же. Но все это казалось законнымъ, даже священнымъ, ибо этимъ держался общій всемъ міръ. Отвергни это — и ты будешь поставленъ въ необходимость создать свой собственный міръ. Такъ и было съ героемъ «Записокъ Сумасшедшаго». Онъ увидълъ, что одно изъ двухъ: либо жена и домашніе, нападавшіе на него за новый образъ мысли, были правы и онъ точно боленъ и нуждается въ лъченіи, либо весь міръ боленъ и живеть въ безуміи. «Записки Сумасшедшаго» могуть почитаться, какъ бы суммарнымъ заглавіемъ ко всему, написанному Толстымъ посль 50 льть. И, мнь кажется, что Толстой не случайно заимствоваль у Гоголя заглавіе для своего неоконченнаго разсказа. Когда при мит одной дтвочкт прочли «Записки Сумасшедшаго», Гоголя, она была больше всего поражена тімъ, какъ могъ Гоголь такъ старательно выписывать всѣ мелкія подробности хаотическаго состоянія потерявшей рациовісіе души. И, въ самомъ дъль, что привлекло его, въ молодые годы, къ этой странной темь? Зачьмъ вообще описывать хаосъ и безуміе? Какое намъ дело до того, считаль-ли или не считаль себя Поприщинъ испанскимъ королемъ, быльли влюбленъ больной чиновника въ дочь своего начальника, переписывались-ли между собою собачонки и т. д.?

Очевидно, Гоголю дикій полеть фантазіи сумаєщедшаго не казался такимь беземысленнымь и ни къ чему не нужнымь, равно какь и тоть особенный, только ему одному принадлежащій мірть не представлялся столь нереальнымь, какь это кажется намь. Что-то его тянуло къ Поприщину и къ безумію Поприщина, что-то въ его жизни и его особенномъ мірть привлекало и непреодолимо манило къ себть будущаго автора «Переписки съ друзьями». Иначе зачть было

останавливаться на сго жалкихь, съ внашней стороны, явно безмысленныхъ переживаніяхь? Заматьте, что не только безуміе Поприщина привлекло въ эту пору жизни вниманіе Гоголя. Тогда же одъ пишеть и «Вія», и «Страшную месть», и «Старосватскихъ помащиковъ». И ошибочно было-бы думать, что Гоголь въ этихъ разсказахъ былъ только стороннимъ наблюдателемъ, «бытописателемъ» народной жизни.

Кошмарная смерть, такъ внезапно разбудившая отъ мирной дремоты полурастительного существованія Афанасія Ивановича и Пульхерію Ивановну, уже въ молодые годы видно непрестанно тревожила воображе је Гоголя. Тоже несомнънно, что онъ самъ былъ опгян пъ жутью сказки и миоа — жилъ въ сферѣ фантастическаго не меньше, чъмъ въ признанномъ всеми реальномъ мірт. И колдуны, и ведьмы, и черти, такъ неподражаемо имъ описанные, и всъ ужасы и очарованія, пробуждающіеся въ человъческой душъ при соприкосновеніи съ запредѣльными тайнами непреодолимо влекли къ себъ Гоголя. Если бы вы пожелали отвътить на вопрось, что было сущностью Гоголя, его природой и что въ немъ было вившняго, наноснаго - иначе говоря, гдв можно найти настоящаго Гоголя, тамъ-ли, гдф ему отвела мъсто «исторія» культуры, или тамъ, гдъ парила его безудержная фантазія, вы бы не имъли никакихъ «данныхъ» для отвъта. Развъ только, если бы вы довърились какой-нибудь изъ современныхъ теорій познанія, которая, по примъру Аристотеля, захватила право отграничивать сонъ отъ яви, дъйствительность отъ фантазіи. Но, если вы не принадлежите къ темъ, которые слено полагаются на готовыя теоріи, сели вы способны хоть иногда, хоть на мгновенье, освободиться отъ гипноза современныхъ идей, то вы далеко не такъ решительно станете сводить на-нетъ попытки Гоголя изобразить эту загадочную, такъ привлекавшую его и такъ недоступную для всехъ, опороченную теоріями, действительность. Можеть быть, вы согласитесь признать тогда, что и въ «Мертвыхъ душахъ» Гоголь не выступалъ «обличителемъ» общественныхъ нравовъ, а гадалъ о своей судьбъ и судьбахъ всего человъчества. Въдь самъ же онъ и разсказалъ намъ, что подъ видимымъ смѣхомъ его были невидимыя слезы и что, когда мы смѣялись надъ Чичиковымъ и Ноздревымъ, мы смъялись надъ ихъ творцомъ.

III.

Въ противуположность Толстому, Гоголь уже въ раннихъ своихъ произведеніяхъ сталъ подходить къ той завѣтной чертѣ, которая отдѣлясть обычную, всѣмъ доступную лѣйст-

вительность отъ скрытой для смертнаго въчной тайны. Подходиль когда серьезно, когда играя. Ему нравилось на мгновенье наклонить голову надь пропастью и испытать жуть головокруженія: онъ быль увърень, что, когда захочеть, отведеть глаза отъ пропасти. Онъ чувствоваль себя привязаннымъ надежными канатами къ общему для всъхъ міру, и для него экскурсіи въ область загадочнаго были вольными и не слишкомъ опасными развлеченіями. Такь онъ думаль. Но судьба готовила сму иное. И это выяснилось подъ конець жизни. Его настоящими «записками сумасшедшаго» были «Мертвыя души» и «Избранныя мъста изъ переписки съ друзьями».

Даже Пушкинъ, который все умъль понимать, не разгадаль истиннаго смысла «Мертвыхъ душъ». Ему казалось, что это плачь по невѣжественной, дикой, отсталой Россіи. Но не въ одной Россіи Гоголь увидъль мертвыя души. Весь міръпредставился ему завороженнымъ царствомъ; всъ люди великіе и малые — безвольными, безжизненными лунатиками, покорно и автоматически выполняющими извить внушенныя имъ приказанія. Ъдять, пьють, гадять, размножаются, произносять отяжелевшими языками беземысленныя слова. Нягдь ни сльда «свободной воли», ни одной искры сознанія, никакой потребности пробудиться оть въковъчнаго сна. Всъ глубоко убъждены — что ихъ сонъ, ихъ жизнь и ихъ «общій» міръ есть единственная, последняя и окончательная реальность, хотя никто, конечно, никогда объ Аристотелъ и не слышаль. «Переписка» только комментарій и донолненіе къ «Мертвымъ душамъ». Въ ней, конечно въ совершенно иной форм'ь, вырываются вновь на поверхность скрытыя чаянія народной души. Тоть-же Вій, ть-же колдуны, ть-же відьмы, черти -- вся та фантастика, о которой мы уже говорили.

И этоть фантастическій мірь представляется Гоголю самой реальностью сравнительно сь тімь міромь, въ которомь Собакевичь расхваливаеть Чичикову свои мертвыя души, Пітухь до изнеможенія закармливаеть своихь гостей, Плюшкий ростить свою кучу, Ивань Ивановичь ссорится сь Иваномь Никифоровичемь и т. д. «И здісь поистинів можно сказать: біжимь, біжимь вь нашу дорогую отчизну. Но какъ біжать? Какъ вырваться отсюда?.. Наша отчизна—та область, изъ которой мы пришли сюда; тамъ живеть нашь Отець». *) Такъ говорить Плотинь, такъ думаль и чувствовать Гоголь: только смерть и безуміе смерти можеть разбудить людей оть кошмара жизни. Въ этомъ-же смысль «Записокъ Сумасшедшаго» Толстого — т. е. не того незаконченнаго отрывка, который носить это заглавіе, а всего, что

^{*)} Плотинъ. І. 6. 8.

написано Толстымъ послѣ «Анны Карениной». «Сумасшествіе» состояло въ томъ, что все, что прежде казалось реальнымъ и поистинѣ существующимъ, теперь стало представляться призрачнымъ и, наоборотъ, то, что казалось призрачнымъ, теперь кажется единственно дъйствительнымъ.

Въ «Русскомъ Архивъ» за 1868 г. появилась до сихъ поръ почему-то нигдъ не перепечатываемая статья Толстого: «Нъсколько словъ по поводу книги «Война и Миръ». Въ ней есть следующія многос намъ объясняющія строки, въ которыхъ Толстой опредъляетъ свое отношение къ кръпостному праву. Его упрекали за то, что во «Войнъ и Миръ» онъ недостаточно выразиль «характеръ времени». «На этотъ упрекь, — говорить онъ, — я имъю возразить слъдующее. Я знаю, въ чемъ состоить этоть характеръ времени, котораго не находять въ моемъ романъ — это ужасы кръпостного права, закладыванье женъ въ ствны, свченье взрослыхъ сыновей, Салтычиха и т. д.; и этоть характерь того времени, который живеть въ нашемъ представленіи, я не считаю върнымъ и не желалъ выразить. Изучая письма, дневники, преданія, я не находиль всъхъ ужасовъ этого буйства въ большей степени, чемъ нахожу ихъ теперь или когда-либо. Въ те времена такъ-же любили, завидовали, искали истины, добродътели, увлекались страстями; такъ-же была сложная умственнонравственная жизнь, даже иногда болье утонченная, чъмъ теперь въ высшемъ сословіи. Ежели въ понятіи нашемъ составилось мивніе о характерв своевольства и грубой силы того времени, то только от того, что въ преданіяхъ, запискахъ, повъстяхъ и романахъ до насъ найболъе всего доходили выступающіе случаи насилія и буйства».

Толстому было сорокъ лътъ, когда онъ писалъ эти строки: возрасть полной эрълости и расцивта духовныхъ силъ. Въ созрѣвшемъ Толстомъ Аракчеевская эпоха не возбуждаетъ ни ужаса, ни отвращенія. А въ дітстві, какъ мы знаемъ, онъ приходилъ въ безумное отчаянье, когда при немъ били мальчика, или даже когда нянька съ экономкой грубо перебранивались. Ему было извъстно, что дълалъ Аракчеевь и его сподвижники, зналь онъ тоже, что такое крапостное «право» и какова была жизнь мужиковъ подъ неограниченной властью помъщиковъ — но «видъть» этого онъ не хотълъ, разумъ, которому, какъ принято думать, полагается все видъть, не разръшалъ. Почему? Потому что такое видъніе безполезно, не нужно. Оно разрушаетъ съ такимъ трудомъ исторически сложившійся ordo et connexio rerum, тоть общій всьмъ міръ, внъ котораго – безуміе и гибель. Правда неприкрашенная, правда, идущая въ разръзъ съ насущными челозъческими потребностями, хуже всякой лжи. Такъ думалъ Толстой, когда писалъ «Войну и Миръ», когда идеи Аристотеля еще

всецьло владьли имъ, когда онъ боялся сумасшедшаго дома и сумасшествія и надьялся, что ему никогда не придется жить въ своемъ «особомъ мірь». Но, когда онъ принужденъ быль сказать себь: «они признали, но я-то знаю, что я сумасшедшій», когда онъ почувствоваль себя изверженнымъ изъ общаго міра, онъ волей неволей долженъ быль начать глядьть на все не общими, а своими собственными глазами. И тогда «характеръ времени» Аракчеевской эпохи предсталь предъ нимъ въ совсьмъ иномъ освъщеніи. «Утонченная жизнь высшаго сословія» — говориль онъ преждс. Теперь онъ говорить только о звърствъ, жестокости, грубости и пошлости «высшаго сословія».

Внъшность красивая, чистая — но подъ внъшней красивой оболочкой тупость, пустота, преступное безсердечіе, узкій, безчеловъчный эгоизмъ. Ростовы, Безухіе, Болконскіе превратились въ Собакевичей, Ноздревыхъ и Чичиковыхъ. И нътъ гоголевскаго смъха даже — есть только однъ его слезы...

Въ небольшомъ, тоже неоконченномъ, разсказъ «Утро послѣ бала», написанномъ въ 1903 году, когда Толстому уже пошель восьмой десятокъ, Толстой, повидимому, умышленно сводить на очную ставку свои старыя и новыя «виденія». Разсказъ состоить изъ двухъ частей. Въ первой описывается веселый, красивый и интересный баль. Описывается съ мастерствомъ, равнаго которому русская литература ни до, ни послѣ Толстого не знала. Балъ поистинъ чудееный. И музыка, и танцы, и шампанское, и благородные, милые люди высшаго сословія, и, конечно, очаровательная, молодая дівушка, и влюбленный въ нее молодой человъкъ, отъ имени котораго ведется разсказъ. А черезъ часъ послъ окончанія бала, разсказчикъ, веселый, счастливо возбужденный, полный только что пережитыми «утонченными» чувствами наталкивается на улиць на иную сцену: гонять сквозь строй дезертира-татарина. И истязанія происходять подъ начальствомъ полковника - отца очаровательной молодой дівушки, того самаго, который подъ консцъ бала, къ общему удовольствію, такъ красиво и элегантно танцовалъ «по-старинному» мазурку со своею дочерью. Я сказаль, что сцена была описана Толстымъ съ неподражаемымъ искусствомъ. Съ неменьшимъ, если не большимъ искусствомъ и подъемомъ описана и казнь татарина. Не стану приводить выписокъ изъ разсказа: всь, върно, читали и помнять его. Существенно только отмътить и противуноставить одну другой двъ манеры видъть и изображать дъйствительность. И, если имъть въ виду всю литературную діятельность Толстого, то можно, метафорически, конечно, и съ подобающими въ такомъ случат ограниченіями, сказать: въ молодые и зрѣлые годы Толстой изображать жизнь, какь очаровательный баль, подъ сторость — какь мучительное проведеніе сквозь строй. Подъ старость не только Аракчеевское время и эпоха Николая I казались ему безумнымъ истяжелымъ кошмаромъ, онъ не выносилъ даже и нашихъ, сравнительно болъе мягкихъ, нравовъ. Его собственная семья, которую онъ обрисовалъ еще недавно въ «Аннъ Карениной» въ столь идиллически прекрасныхъ образахъ, стала для него невыносимой. И самъ онъ сталъ себъ не менъе отвратительнымъ, чъмъ тъ люди, съ которыми онъ жилъ. Пришлось, какъ сказано въ Писаніи, возненавидъть отца, мать, жену, дътей и даже самого себя: иного пути для тъхъ, кто изверженъ изъ общаго для всъхъ міра, очевидно, нътъ...

Толстой гдь-то говорить, что лучшій видь литературы, это - автобіографія. Думаю, что это невѣрно и не можеть быть върно въ условіяхъ человъческаго существованія. Мы всь слишкомъ принадлежимъ обществу и слишкомъ живемъ для общества и, потому, пріучились не только говорить, но и думать лишь то и такъ, какъ того требуетъ общество. Написать правдиво исторію своей жизни или искреннюю исповъдь, т. е. разсказать о себъ не то, чего ждетъ и чего нужно обществу, а то, что действительно съ тобой было, значить добровольно выставить себя, - при жизни или послѣ смерти, это почти все равно, -- къ позорному столбу. Общество не прощаеть отступленій оть своихъ законовъ, и судъ его неумолимъ и безпощаденъ. Мы всъ это знаемъ, и даже самые смѣлые среди насъ приспособляются къ общественнымъ требованіямъ. Дневники Толстого еще не опубликованы, но тъ дневники и жизнеописанія, которые мы знаемъ, подтверждають сказанное мною. Ни одному человъку до сихъ поръ не удавалось разсказать о себъ въ прямой формъ правду, даже часть правды — и это равно относится и къ «Исповъди» бл. Августина, и къ с nfessions Руссо и къ автобіографіи Милля, и къ дневникамъ Нитше. Свое собственное, главное, интимное не попало ни въ одно изъ этихъ произведеній. Самую цѣнную и трудную правду о себъ люди разсказывають только тогда, когда они о себѣ не говорять. Если бы Достоевскій написаль свою автобіографію - она бы ничьмъ не отличалась оть Страховской біографіи: щегольнуль бы лицевой стороной жизни и только. А въ «Запискахъ изъ Подполья», въ Свидригайловъ — самъ Страховъ признаеть это — передъ нами живой, настоящій Достоевскій. Тоже и Ибсенъ: не ищите его въ письмахъ или воспоминаніяхъ — не найдете. А въ «Дикой уткъ» и другихъ своихъ пьесахъ онъ всего себя разсказалъ. И Гоголь не въ «авторской исповеди» — а въ «Мертвыхъ душахъ». То-же можно обо всъхъ писателяхъ сказать.

И нѣтъ надобности требовать отъ людей правдивыхъ автобіографій. Вѣдь литературный вымыселъ затѣмъ и придуманъ, чтобы дать возможность людямъ свободно высказаться. Но, скажутъ, нужио-ли повѣрить въ правду, какъ люди до сихъ поръ вѣрили и вѣрятъ въ ложь. Это невозможно?! Нельзя знать, что дастъ намъ правда?! Но, вѣдъ, и ложь, которую мы обоготворяемъ, не очень намъ много дала...

Впрочемъ, въ утъщеніе тъмъ, которые боятся порывать съ традициями, я скажу, что правда все-же не такъ опасна, какъ это принято думать. Ибо, даже выставленная на показъ, она все еще не становится общимъ достояніемъ: таковъ изначальный законъ Судьбы. Кому не слъдуетъ—тотъ правды не увидитъ, хотя-бы она являлась къ нему во всей своей наготъ на каждомъ перекресткъ. Сверхъ того, пока существуетъ міръ— не переведутся и люди, которые со спокойной или неспокойной совъстью будутъ изготовлять для своихъ ближнихъ возвышающую ихъ ложь. И такіе люди всегда были и всегда будутъ властителями человъческихъ думъ.

Такъ или иначе, въ автобіографіяхъ не больше «правды», чъмъ въ біографіяхъ. Кто хочеть «правды» — тоть долженъ научиться искусству читать художественныя произведенія. Трудное это искусство — недостаточно быть грамотнымъ, чтобъ умѣть читать. Потому такъ цѣнны сохранившіеся послѣ автора черновые наброски. Иной разъ эскизъ, даже наскоро занесенная на бумагу, едва зародившаяся мысль больше говоритъ, чѣмъ закснченное художественное произведеніе: человѣкъ не успѣлъ еще приспособить свои видѣнія къ «общимъ» требованіямъ. Нѣтъ подготовляющаго начала, нѣтъ разрѣшающаго конца. Рѣзкая и обнаженная мысль стоитъ предъ нами, какъ утесъ надъ водой, во весь свой естественный рость, и некому «оправдывать» ее въ ея грубомъ своеволіи — ни самого автора, ни услужливаго біографа.

Оттого я такъ долго останавливаюсь на незаконченныхъ и необработанныхъ «Запискахъ Сумасшедшаго». Въ своихъ законченныхъ произведеніяхъ Толстой настойчиво проводитъ ту мысль, что онь считаеть дѣло здраваго смысла — своимъ единственнымъ жизненнымъ дѣломъ, что вся его задача — дать людямъ вѣру въ здравый смыслъ. И только разъ, въ наброскѣ, онъ позволилъ себѣ назвать то, что происходило въ его душѣ, настоящимъ словомъ. «Они признади меня — въ здравомъ умѣ, но я-то знаю, что я сумасшедшій». Это привнаніе открываеть намъ доступъ къ наиболѣе важнымъ и значительнымъ переживаніямъ Толстого.

Не слъдуеть, однако, забывать, что даже въ послъдніе годы жизни Толстого «сумасществіе» не было постояннымъ его душевнымъ состояніемъ. Оно только временами «нахо-

дило» на него: онъ то жилъ въ своемъ «особенномъ» міръ, то въ «общемъ для всъхъ». Придугь вдругь неизвъстно откуда безпричинные, безумные страхи, раскинуть, персбьють, переломають всь сокровища, накопленныя въ душъ разумомъ, и уйдутъ тоже неизвъстно куда и такъ-же внезапно и неожиданно, какъ пришли. И тогда Толстой снова нормальный человъкъ — такой-же, какь и всъ, только съ нъкоторыми странностями и чудачествами, слабо и отдаленно отражающими пережитыя бури или предчувствіе будущихъ новыхъ потрясеній. Отсюда и неровности въ его характерь и дъятельности, отсюда и постоянныя «вопіющія» противорѣчія, которыя съ такимъ злорадствомъ подчеркивали его многочисленные недоброжелатели. Толстой боялся -больше смерти боялся — своего безумія, но вмість съ тімъ всей душой ненавидълъ и презиралъ свою нормальность. И его безпокойная, порывистая непоследовательность говорить намъ много больще, чемъ выдержанная и разсудительная твердость тьхъ, кто его обличаль.

IV.

Многіе, чтобъ успокоить себя и отділаться отъ той тревоги, которой они невольно заражаются, читая произведенія Толстого, пытаются объяснить всі боренія его малодушнымъ страхомъ предъ смертью. Имъ кажется, что такое «объясненіе» избавить навсегда ихъ отъ трудныхъ вопросовъ и вернеть прежнія права обиходнымъ отвітамъ. Способъ не новый, но надежный. Его еще Аристотель формулировалъ, твердой рукой проведшій ясную и отчетливую линію, опредъляющую преділы человіческихъ исканій. Не нужно подходить къ послідней тайнь, нельзя давать мыслямъ о смерти, право владіть человіческой душой.

Но Платонъ училъ другому. Въ одномъ изъ своихъ самыхъ вдохновенныхъ діалоговъ онъ не побоялся открыть людямъ ту великую и вѣчно скрытую истину, что философія есть ни что иное, какъ приготовленіе къ смерти и умираніе. Не побоялся, ибо зналь, что эта истина — хотя-бы ее возвъщали въ самыхъ людныхъ мъстахъ самые громкоголосые герольды — все равно не будеть услышана теми, кого онъ называль оі тоддої и кого, вследъ за нимъ, Нитше называль: «многіе, слишкомъ многіе». И, если правъ Платонъ, а не въ последнія десятильтія Аристотель, то свой Толстой даеть намъ образецъ истинно философскаго творчества. Все, что онъ дълалъ, имъло только одинъ смысль и одно назначеніе: ослабить свою связь съ текущимъ и преходящимъ, съ «общимъ міромъ», сбросить со своего жизнен-

наго корабля тотъ тяжелый балласть, который придаеть ему равновьсіе, но, вмъсть съ тьмъ, не даеть ему оторваться оть земли. Непосвященнымъ часто дъло Толстого кажется преступнымъ и кощунственнымъ. Онъ растаптываетъ то, что людямъ кажется наиболъе дорогимъ. Онъ оскорбляетъ святыни, расшатываетъ устои, отравляетъ невинныя радости. Онъ приносить и можеть принести только одни страданія. «Что это за проклятое христіанство»—восклицаеть съ неподдъльной искренностью княгиня Черемисова въ посмертной драмѣ Толстого «И свѣть во тьмѣ свѣтить». И вѣль она права. Ея сынъ подъ судомъ: онъ не хочетъ, подавшись «новому ученію», возвъщенному героемъ драмы, Николай Ивановичемъ (т. е. Толстымъ), служить на военной службъ. Это, какъ извъстно, значитъ, что его жизнь навсегда погублена. И жена Николая Ивановича выражается не менбе сильно: «Какъ ты жестокъ, -- говоритъ она мужу, -- какое это христіанство? Это-злость». Въ словахъ этихъ двухъ замучившихся женщинъ сконденсировалось все негодованіс и отвращеніе, какія законно и естественно вызывали въ близкихъ къ Толстому людяхъ его новыя устремленія. «Если-бы, говорить его женъ ея сестра, ты мнъ была не сестра, а чужая, а Николай Ивановичъ не твой мужъ, а знакомый, я бы находила, что это оригинально и очень мило и, можеть быть, сама-бы поддакивала ему... Но, когда я вижу, что твой мужъ дуритъ, прямо дурить, я не могу не сказать тебъ, что думаю». Такъ почти всъ говорять: всъ готовы признать идеи Толстого оригинальными, интересными, признать за ними какія угодно достоинства, пока онъ дальше разсужденій не идеть. Но, какъ только начинается «воплощеніе» - всь, какъ одинъ человъкъ, возстаютъ противъ Толстого.

Не можетъ уступить Толстой свой «особенный» міръ и не уступаетъ. Но и семья не менѣе прочна въ своей вѣрѣ: для нея «общій міръ» есть единственно дѣйствительный. Только въ этомъ мірѣ и первая, и послѣдняя правда, та правда, которую еще такъ недавно самъ Толстой былъ готовъ защищать, какъ онъ говорилъ, «кинжаломъ и револьверомъ» и которой онъ воздвигъ поистинѣ нерукотворный памятникъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Двѣ правды стоятъ одна противъ другой и анаоемствуютъ. Si quis mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit, anathema sit — гремитъ одна правда. Стольже грозно отвѣчаетъ другая правда: Si quis dixerit, mundum ad Dei gloriam conditum esse, anathema sit*).

Кто разрѣшить споръ межь носителями двухъ столь различныхъ правдъ? Міръ для Бога — или міръ для людей?

 ^{*)} Если кто станетъ отрицать, что міръ созданъ для славы Божіей анавема. Если кто скажетъ, что міръ созданъ для славы Божіей—анавема.

Правы-ли въ своей неизмънной върности старому закону домочадцы Толстого или правъ перебъжчикъ-Толстой, еще вчера бывшій опорой того порядка, на который онъ теперь ополчился? Кого спросить? Гдъ та инстанція, которая разсудить между жровно и неразрывно связанными и вдругь ставщими другъ другу столь ненавистными людьми? И естьли такая инстанція? Толстой, если полагаться на его слова, не хочеть и не можеть въ этомъ усомниться. Въ споръ съ молодымъ священникомъ Толстой особенно горячо на этомъ настанваеть:

Ник. Ив. — Върить надо, върить, безъ въры нельзя, но ме върить въ то, что мнъ скажутъ другіе, а въ то, къ въръ во что вы приведены самымъ ходомъ своей мысли, своимъ разумомъ... Въра въ Бога, въ истинную, въчную жизнь.

Свящ. — Разумъ можетъ обмануть, у каждаго свой разумъ.

Н. И. (горячо). — Вотъ это-то ужасное кощунство. Богомъ дано намъ одно священное орудіе для познанія истины, одно, что насъ можеть соединить во-едино. А мы ему не въримъ.

Свящ. — Да какъ-же върить, когда, ну, разногласія, что-ли?

Н. И. — Гдь-же разногласія? То, что дважды два четыре, и что другому не надо дьлать то, чего себь не хочешь и что всему есть причина и тому подобныя истины мы признаемь всь, нотому что всь онь согласны съ нашимъ разумомъ. А воть, что Богь открылся на горь Синав Моисею, или что Будда улетьль на солнечномъ лучь, или что Магометь леталь на небо... въ этихъ и подобныхъ дълахъ мы всь врозь.

Николай Ивановичъ высказываетъ мысль, которая до конца жизни казалась Толстому органически сросшейся со всёмъ его существомъ: Разумъ одинъ для всёхъ и всегда самъ себъ равенъ.

Онъ всёмъ говорить одно и одного для всёхъ требуетъ. Но, почему тогда Толстой до 50 лётъ не слышать новелительнаго голоса своего «разума»? И почему, когда онъ впервые почувствоваль, что не можеть вырваться изъ власти этого повелителя, имъ овладёлъ такой безумной ужасъ? Почему онъ тогда принужденъ былъ сказать себё: «они признали, что я только подверженъ аффектамъ, но я-то знаю, что я сумасшедшій?»

Для внимательнаго читателя едва-ли можеть быть сомивніе, что въ «Запискахъ Сумасшедшаго» Толстому удалось вървъе изобразить свое душевное состояніе, нежели въ только-что приведенных словах Николая Ивановича. «Разумъ», которымъ держится «общій міръ», который даетъ истины о томъ, что дважды два четыре и что ничего не бываетъ безъ причины, не только не оправдываетъ новыхъ толстовскихъ страховъ и тревогъ, но онъ ихъ самымъ безпощаднымъ образомъ осуждаетъ, какъ «безпричинные», пи на чемъ не основанные, произвольные и, стало бытъ, нереальные, призрачные.

Что они были безпричинными - намъ самъ Толстой разсказаль, что они навсегда остались безпричинными мы въ этомъ убъдимся дальше. Для «разума» же - опять это Толстой говорить — «дважды два четыре» и «всему есть причина», равно не допускающія сомнінія истины. Какъ же могь разумъ благословить Толстого на новое ученіе, которое создалось подъ непосредственнымъ дъйствіемъ безпричинныхъ страховъ, этихъ явныхъ самозванцевъ бытія? И пссмотрите, каковы были последствія ученія. Двадцать пять леть жила семья дружно, согласно. Но, съ техъ поръ какъ Толстой сталъ жить по-новому, пришель конець и согласію, и дружбі, и любви. Не могли разойтись, но совмістная жизнь была жизнью скованныхъ одной ценью каторжниковъ. Такъ что если правда, что разуму дано сближать и объединять, то очевидно, что надъ семьей Толстого, послъ его обращенія, стало витать начало, разуму прямо враждебное. Всё близкіс возмутились противъ него, и въ доводахъ, приводимыхъ имъ въ свою защиту и оправданіе, никто не находиль ни мальйшей убъдительности. Наобороть, всь, если не знали, то чувствовали, что за доводами притаилось то начало безумія, о которомъ разсказываеть Толстой въ «Зап. Сумасшедшаго», и боролись съ нимъ, какъ могли - увъщаньями, просьбами, углозами, даже силой.

Заключительная сцена пьесы, какъ въ веркалѣ отражающая тоть адъ, въ который попала подъ руководствомъ «разума» и новаго «проклятаго» христіанства когда-то счастливая семья, какъ нельзя лучше подтверждаетъ призрачность Толстовскихъ надеждъ на «объединеніе».

Наверху, въ освъщенныхъ и убранныхъ комнатахъ, балъ съ музыкой, танцами, цвѣтами, учтивыми французскими фразами, а впизу — въ первомъ этажѣ — глава семьи, себирающійся уйти изъ дому куда глаза глядятъ, только-бы не быть свидѣтелемъ того безобразія, въ которомъ жена и дѣти видятъ сущность и украшеніе жизни. И опъ бы ушелъ — ни жена, ни дѣти, никто въ мірѣ не убѣдилъ-бы его измѣнитъ принятое рѣшеніе. Послѣднимъ доводомъ жены являстся угроза: если онъ уйдетъ, она бросится подъ поѣздъ. Не разумнымъ доказательствамъ, а угрозѣ уступаетъ Николай Ига-

новичь. И среди безпечнаго веселья младшихъ членовъ семьи, очевидно не постигающихъ кошмарнаго смысла борьбы между отцомъ и матерью, гибнеть у Николая Ивановича последняя надежда на торжество разума. Онъ смиряется, объщаеть остаться и продолжать эту «противную его убъжденіямь» жизнь — но все еще не хочеть «думать», что въ этой уступкъ сказывается окончательное поражение его «разума». Но и это утьшеніе Толстой себ'я разрыщаеть не на долго. Сътымъ безстрашіемъ, съ той роковой правдивостью, которая не останавливается даже предъ явно-противоръчивыми утвержденіями, онъ непосредственно вслъдъ за сценой объяснения съ женой рисуеть еще одну сцену, не менье кошмарную и въ корнъ подрывающую всь права и прерогативы разума. Приходить мать князя Черемисова, находящагося подъ судомъ за отказъ оть военной службы, и, въ порывъ безудержнаго отчаянія, въ такихъ грубыхъ и жесткихъ выраженіяхъ, продиктованныхъ, очевидно, глубочайшимъ убъжденісмъ въ своей совершенной правоть, нападаеть на Николая Ивановича и его христіанство, что онъ не находить въ себъ силь отстаивать предъ ней свое дело. Все слова, все доказательства, которын въ болье спокойныя минуты онъ обыкновенно приводиль въ защиту своихъ идей, кажутся ему выдохшимися и пустыми. Что скажещь несчастной, обезумъвшей отъ горя женщинъ, сынь которой добровольно обрекаеть себя на мученическую смерть? Сколько-бы ни говорилъ, сколько-бы ни убъждаль Николай Ивановичъ, она, при мысли о томъ, что сынъ, ея единственная опора и надежда, сидить въ сумасшедшемъ домъ среди безумно вонящихъ, одичавшихъ людей или въ дисциплинарномъ батальонъ, среди лишенныхъ человъческихъ правъ и на-половину человъчсского образа солдатъ, что бы ей ни говорили — она не повъритъ, никогда не повъритъ, что такъ быть должно. «Выдумали съ Николай Ивановичемъ какое-то христіанство. Это не христіанство, а дьявольское ученіе, которое заставляеть всьхъ страдать.» Для княгини Черемисовой, для жены, для дътей Николая Ивановича, для всъхъ людей - новое ученіе есть ученіе дьявольское, проклятое. Поступать такъ, какъ онъ учить, «значить умереть». Это и говорить сынъ Николая Ивановича, Степа, отцу. Но отецъ это не считаеть возраженіемъ. «Да, и если ты умрешь за други свои, это будеть прекрасно и для тебя и для другихъ», отвъчаеть онъ. Такова парадоксальная логика глубокихъ человъческихъ переживаній. Безпричинные страхи приводять къ ни на чемъ не основанному безстращію. Умереть не страшно, страшно -- жить нашей безсмысленной, тупой жизнью. Наша жизнь есть смерть, наша смерть - есть жизнь или начало жизни. Воть что говорить окружающимъ Толстой и воть чего они не понимали и никогда не поймуть.

Да развъ это можно «понять»? Развъ самъ Толстой это «понималь»?

V.

многіе сравнивали Толстого съ Сократомъ. Между учениками и почитателями Толстого были такіе, которые считали его, какъ древніс Сократа, безгрѣшнымъ и праведникомъ. Но самъ онъ зналь и говориль о себѣ другое. Онъ самъ считаль себѣ великимъ, величайшимъ грѣшникомъ. И не только первая половина его жизни — когда онъ еще не постигъ истины — представлялась ему отвратительной. Его старость такъ-же противна ему, какъ и молодостъ. «Божественное орудіе», которое онъ такъ торжественно прославлялъ, не выводило на торную, широкую дорогу, а чѣмъ дальше, тѣмъ больше заводило въ непроходимыя дебри. И, если Толстой все-же продолжалъ идти впередъ, то только потому, что всѣ пути назадъ были заказаны. Но онъ уже убѣдился, что «разумъ» пересталъ служить ему, что онъ, хотя и шелъ куда-то но не зналъ, куда придетъ.

Въ этомъ основное отличіе его отъ Сократа, по крайней мірь оть того Сократа, имя котораго вписано на страницы исторіи. И Толстой училь людей и Толстой пропов'єдываль грі et orbi. Міръсътрепетомъ и благоговініемъ прислушивался къ словамъ яснополянскаго старца. Если-бы быль вь наше время всезнающій оракуль, онъ-бы навірное сказаль, что Толстоймудръйшій изъ людей. Но самъ Толстой зналъ другое-зналь, что онъ слабый, немощный старикъ. И чемъ больше росла его слава, тъмъ сильнъе мучался онъ сознаніемъ своего безсилія и ничтожества. Онъ жа кдаль славы — это правда. Но слава ему была нужна лишь для того, чтобъ получить право и возможность растоптать ее. Не призрачная слава мнимаго героя, а настоящая слава мудреца и праведника нужна только для того, чтобъ быть отвергнутой. Это тоже великая и страшная, какъ всякое откровеніе, истина. О ней Толстой со свойственными ему одному правдивостью и мужествомъ разсказаль въ своемъ тоже посмертномъ произведени «Отепъ Сергій».

Отецъ Сергій, монахъ, старець — въ міру князь Касаткинъ, блестяцій гвардейскій офицеръ. Онъ въ молодости ждалъ многаго отъ жизни и многаго-бы дождался, если-бы «случай» не разбилъ всѣ его надежды. Что произошло съ молодымъ княземъ — мы разсказывать не будемъ. Но даже тѣ, кто не читалъ «Отца Сергія», могутъ положиться на Толстого: «случидось» такое, послѣ чего возвратъ къ прежней свѣтской жизни сталъ абсолютно невозможенъ. Есть-ли что-либо въ иномъ мірѣ—

въ томъ міръ молитвъ и самоистизаній, въ который попадаетъ человъкъ, принявшій монашескій объть, - или нъть, объ этомъ Касаткинъ не могъ не думать, ни знать ничего опредъленнаго. Опъ только зналъ, что вив монастыря для него нътъ мъста въ міръ. Свое повое дъло онъ сталъ дълать съ той добросовъстностью, которая была отличительнымъ свойствомъ его характера. И хотя не скоро, но достигь на повомъ поприща неслыханнаго усивха. Его узнала вся Россія. За сотни, за тысячи версть стекались вы монастырь богомольцы, привлекаемые славой святого старца. «Онъ часто самъ удивлялся тому, какъ это случилось, что ему, Степану Касаткину, довелось быть такимъ необыкновеннымъ угодникомъ и прямо чудотворцемь, но въ томъ, что онъ быль такой, не было никакого сомивнія: онъ не могъ не вврить тымь чудесамь, которыя онъ самъ видьль, начиная съ разслабленнаго мальчика и до последней старушки, получившей зръніе по его молитвь. Какь это ни странно было, это было такъ.» Кажется, наступиль моменть полнаго торжества и удовлетворенія. Можно усноконться, отдохнуть вы гордомъ сознаніи, что за тяжкіе труды ниспослана Небомъ заслуженная награда. Всв признали Степана Касаткина великимъ угодникомъ и чудотворцемъ. Развѣ такого общаго признанія недостаточно? Развъ гласъ народа — не гласъ Божій? Если всь заблуждаются, то гдь-же искать правды? Отецъ Сергій, старый человъкъ, прославленный учитель, къ ужасу своему видить, что у него петь ответа на этоть вопросъ. Нельзя полагаться на себя -- онъ это давно зналъ. Теперь онъ убъдился, что и на другихъ положиться пельзи, Коллективное внушеніе, колечно, прочиве, чвмъ самовнушеніе, но его прочность имбеть своимъ источникомъ отнюдь не истину. Отецъ Сергій, или, лучше будемъ прямо говорить, Толстой начинаетъ вепоминать свою прошлую свътскую жизнь и сравнивать ее со своей новой, отшельническою. Къ ужасу своему онъ принужденъ признать, что и прежде, и теперь онъ, помимо своей воли, во всемъ, что дълалъ, служилъ не высшей правдь, а тому, чего отъ него требовали человъческие предразсудки. И теперь онъ говорить себь: «за тысячи верстъ пріважають, въ газетахъпишуть, государь знаеть, въ Европф, въ невърующей Европъ, знають.» Но, развъ можеть быть иначе? Развъ угодника и святого не долженъ чтить весь міръ? Въдь высшая задача разума въ томъ, чтобъ привести людей въ одно святое мъсто, объединить ихъ въ одной въръ и на одномъ авлъ.

Но въ этомъ и великій и загадочный даръ Толстого: когда онъ подходить къ цёли, онъ убъждается, что шелъ не туда, куда нужно было. Между свитымъ подвижникомъ, къ которому со всёхъ концовъ свёта стекаются толпы восгоржен-

ныхъ поклонниковъ, и гвардейскимъ офицеромъ, добросовъстно выполняющимъ свои служебныя обязанности, нътъ по существу разницы. Оба живуть въ общемъ всемъ мірестало быть, тяготьють къ земль и боятся неба. Разумъ обманулъ, всъ «труды» пропали даромъ. Человъкъ послъ долгихъ. мучительных скитаній вернулся на то місто, съ котораго вышель. «Говориль-ли онъ наставленія людямь, просто благословляль-ли, молился-ли о болящихъ, давалъ-ли совъты людямъ о направленіи ихъ жизни, выслушиваль-ли благодарность людей, которымъ онъ помогъ, либо исцъленіями. какъ ему говорили, либо поученіями, онъ не могь не радоваться этому, не могь не заботиться о последствіяхъ своей дъятельности, о вліяніи ся на людей. Онъ думаль о томъ, что онъ быль свытильникъ горящій, и чыль больше онъ чувствоваль это, тѣмъ больше онъ чувствоваль ослабленіе, потуханіе Божескаго свъта, горящаго въ немъ». «Насколько то, что я делаю—для Бога, насколько—для людей?» Воть вопросъ, который постоянно мучаль его и на который онъ никогда не то, что не могъ, но не ръщался отвътить себъ. Онъ чувствоваль въ глубинъ души, что дьяволь подмънилъ всю его діятельность для Бога діятельностью для людей. Онъ чувствоваль это, потому что, какъ прежде ему тяжело было, когда его отрывали отъ уединенія, такъ ему теперь тяжело было его уединеніе. Онъ тяготился посьтителями, уставаль отъ нихъ, но, въ глубинъ души, онъ радовался тъмъ восхваленіямъ, которыми окружали его». Такія мысли преслѣдують Толстого. А выды вы ту пору, когда писался «Отецъ Сергій», Толетой «дълалъ» столько, сколько едва-ли кому доводилось дълать. И не только писаль, проповъдываль. Онь устраиваль крестьянъ, организовывалъ въ огромныхъ размърахъ номощь голодающимъ, утъщалъ несчастныхъ, свои личныя нужды ограничиль minimum'омъ, отказавшись даже оть того, что въ монастыряхъ считается необходимымъ.

Онъ пахаль, тачэль сапоги, семъ убираль послѣ себя, и т. д. Казалось-оы, если ито имолъ право съ закопной, священной гордостью — sancta superbia разрѣшается и католическимъ монахамъ — радоваться о своей жизни и дѣлахъ — такъ вѣдь именно онъ. И вдругъ такой ужасъ предъ собой— «красный, бѣлый, квадратный, раздирающій душу на части». Не вздумайте только, чтобъ поскорѣе отвѣтить на вопросъ — объяснять его слова «смиреніемъ». И вообще не торопитесь: торопливость убиваеть всякую возможность постиженія. И объяснять, т. е. подводить событія толстовской жизни подъ готовыя общія понятія, туть нечего. Объясненія остались уже далеко позади—тамъ, въ общемъ для всѣхъ мірѣ, гдѣ люди «дѣлають», гдѣ «дѣла» прежде всего, гдѣ «заслугами» оправдывается жизнь. Такъ было—но теперь все

измѣнилось. Дѣятельность, работа для людей, даже самая полезная, самая безкорыстная—оть дьявола, и предъ Богомъ не имѣеть цѣны. «Дѣла» не спасають, а губять душу—будь то самыя святыя дѣла. Съ отцомъ Сергіемъ произошло тоже, что когда-то съ монахомъ Лютеромъ. И Лютеръ, ушедшій въ монастырь затѣмъ, чтобъ святыми дѣлами спасти свою душу, вдругъ съ ужасомъ убѣдился, что, принимая санъ, онъ началъ служеніе дьяволу. Когда я произносилъ монашескіе обѣты и обрекалъ себя на тяжкіе труды отшельнической жизни, я этимъ, говорилъ онъ впослѣдствіи, совсѣмъ какъ Толстой, отрекался отъ Бога. Или въ его собственныхъ выраженіяхъ: «ессе, Deus, tibi voveo impietatem «t blasphemiam р г tota : теат vitam». Но, если нельзя спастись добрыми дѣлами, если и добрыя даже дѣла не угодны Богу, что-жъ тогда?

Дать «удовлетворительный» отвъть на этотъ вопрось, т. е. сказать что-нибудь такое, что было-бы пріемлемо для индивидуальнаго или коллективнаго человъческаго разума, Толстой уже не могь. Все спуталось въ его душъ. Онъ переступиль ту черту, гдъ человъческій взглядь отчетливо различаеть предметы. Непроглядная, безпросвътная тьма объяла его — тьма, въ которой онъ, до сихъ поръ жившій въ свъть и больше всего цънившій свыть, не только не могь ничего предпринять, но въ которой и вообще невозможно было предпринять что бы то ни было изъ того, что люди предпринимають, пока они ходять въ свъть. Даже и «думать» нельзя. Въдь люди обычно думають только для того, чтобъ дъйствовать. А тугь дълъ нъть и быть не можеть. Стало быть, и думать нужно совсьмъ не такъ, какъ думаютъ въ «общемъ всемъ мірѣ». Все нужно пересоздавать, все начинать съ начала... Отецъ Сергій «сталъ молиться Богу: Господи, Царю Небесный, Утьшителю, Душе истины, приди и вселися въ ны и очисти ны отъ всякія скверны, и спаси, блаже, души наши». «Очисти отъ скверны славы людской, обуревающей меня», -- повторилъ онъ, и вспомнилъ, сколько разъ онъ молился объ этомъ и какъ тщетны были до сихъ поръ въ этомъ отношеніи его молитвы. Молитва его ділала чудеса для другихъ, но для себя онъ не могъ выпросить отъ Бога освобожденія оть этой ничтожной страсти».

За извъстными предълами ни молитвы, ни добрыя дъла не помогаютъ, какъ не помогли много лътъ тому назадъ Толстому мысли о женъ, объ имъніи и т. д. отвлечься отъ его «страховъ». Въ его, когда-то гордой, самоувъренной душъ, такъ любившей свътъ и ясный отчетливый порядокъ, воцарились хаосъ и непроглядная тьма.

Ни одной живой мысли, ни одного живого чувства: все

умерло, кром'в отчаннія. «Онъ спросилъ себя, любить-ли онъ кого, любить-ли Софью Ивановну, отца Серапіона, испытальли онъ чувство любви ко всімь этимъ лицамъ, бывшимъ у него нынче — къ этому ученому юношів, съ которымъ онъ такъ поучительно бесідовалъ, заботясь только о томъ, чтобы показать свой умъ и неотсталость отъ образованія. Ему пріятна, нужна была любовь отъ нихъ, но къ нимъ любви онъ не чувствовалъ. Не было у него теперь любви, не было и смиренія, не было и чистоты». И это послів десятковь лість трудной подвижнической жизни! Какъ могло такое случиться, за что ностигла Толстого эта кара?

Боюсь, что читатель не согласится повърить Толстому, заподозрить его въ нарочитомъ преувеличении. Еще больше есть основаній опасаться, что читатель устанеть следовать за Толстымъ въ его безцъльныхъ сгранствованіяхъ по безконечнымь, истомляющимъ пустынямъ, гдв только палящій зной, пески и, вмъсто оазисовъ, раздражающие миражи. Зачыть онъ терзаеть себя? Зачыть намъ терзаться съ нимъ? Терзаться съ нимъ незачемъ: кто усталь, вправе отстать и уйтя въ иныя мъсга. Молитвы и добрыя двла Толстого въдь именно отставшима, какъ мы знаемъ съ его собственныхъ словъ, пойдутт на пользу: накъ прежде Голстой быль и будеть волшебникомъ и чудодъемъ для всехъ, кромъ себя. Онъ до нонца жизни своей будеть учить, у него и посль смерти будуть учиться и про его дела легенда разскажеть много необычнаго. Но что бы онъ ни говорилъ людямъ -- все это для него самого не годится. Ему осталось одно: бъжать, бъжать, и бъжать безь оглядки, забывъ о томъ, что осталось позади, не вглядываясь въ то, что его ждеть впереди. Тъ силы, на которыя онъ разсчитываль — его разумъ и его добродътель изм'внили ему. И отецъ Сергій, предметь поклоненія Россіи и Европы, всего языческаго и христіанскаго міра, біжить, какь тать въ ночи изъ своей кельи, сменивъ монашескую рясу мужицкимъ зипуномъ. И — точно затъмъ, чтобы совсъмъ сбить съ толку и безъ того растерявшагося читателя, Толстой разсказываеть, что святой старець, прежде, чьмъ бъжать, совершаеть гнусное и безсмысленное насиліе надъ привезенной къ нему издалека для жиченія отцомъ больной дыникой-полуидіоткой. Нужно было это придумывать? Въдь навърное въ этомъ Толстой неповиненъ! Зачьмъ такъ клепать на себя? Нужно -- несомньнно нужно. Толстой не повинень вь этой гнусности. Но ведь проф. Висковатый разсказаль худшее о Достоевскомъ. Бываеть и такая логика хотя въ учебникахъ о ней не упоминается.

Можеть, Толстой и не думаль о Достоевскомъ, когда кончаль отца Сергія. Но, когда воспоминанія развернули предынань нескончаемый свитокъ прошлаго, онъ убъдился, что

выдуманное преступленіе не отягчить его души. Можеть быть — вѣдь мы вътой области, гдѣ возможности иныя, чѣмъ тѣ, къ которымъ мы привыкли — облегчить его на томъ новомъ пути, на который опъ былъ призванъ невѣдомой волей...

Разсказъ «Отецъ Сергій» имветь конецъ: Толстой «отдалъ честь классицизму» — развязка есть. Отецъ Сергій, уйдя изъ монастыря, начинаетъ скитаться, доходить до Сибири, «селится на заимкъ у богатаго мужика и теперь живетъ тамъ. Олъ работаетъ у богатаго мужика и учить дътей, и ходить за больными». Коротко и ясно для тъхъ, кто не хочеть видъть, что это только честь, отданная классицизму, что толстовскія хожденія по мукамъ на этомъ не кончились. Развѣ ть страхи, о которыхъ онъ намъ разсказывалъ, не живуть и въ Сибири? Или тамъ фуріи менће безпощадны! «Отецъ Сергій» не послѣднее слово Толстого. На заимкѣ у богатаго мужика, среди работь въ огородъ, преподаванія дътямъ и уходомъ за больными, Толстой такь-же мало могь найти покоя, какъ и въ своей старой семь въ постоянной борьбъ за свою загадочную «правду». Оттого новой жизни всего посвящено три строчки. Онъ, повидимому замъняють собою многоточіе или вопросительный знакъ. Или это привычная дань разуму, требующему, чтобы всякое начало имѣло свой конецъ. Толстой почти никогда не рѣшался открыто отказывать въ повиновеніи «разуму», никогда не признавался, что живеть не во свъть, а во тьмь. И ночь для него была ночью, только ночью — т. е. безсодержательнымъ ничто, какъ будто-бы не онъ разсказалъ намъ о «заполненной» nox my tica многое такое, что не открывалось даже прославленнымъ, канонизированнымъ святымъ – Бернарду Клервосскому, св. Терезъ, Іоанну дель-Кроче. Таково основное противоръчіе человъческой природы: мы хотимъ, чтобы даже бреды наши были закономърными. Мы и къ откровеніямъ предъявляемъ такое же требованіе...

Когда Декарту «открылся свъть истины», онъ свое великое постижение втиснуль тотчасъ-же въ формулу заключения: Содіто егдо sum. И погибла великая истина — ничего не принесла ни самому Декарту, ни людямъ! И въдь онъ-же училь, что се omnibus dubitandum — что во всемъ нужно усомниться. Но тогда прежде всего нужно было усомниться въ правомърности притязаній силлогистическихъ формулъ, считающихъ себя всегда и вездъ привнанными экспертами истины. Какъ только Декартъ началъ «заключать», онъ сразу забылъ что онъ увидъль. Забылъ содіто, забылъ sum, только бы добыть принудительное для него и для всъхъ егдо. Но все «постиженіе» уже цъликомъ было въ sum. И sum сравнительно съ содіто, какъ и седіто сравнительно съ sum ничего

новаго изъ себя не представляетъ. Върнъе было бы сказать «Sum cogitans»: въ этомъ вся сущность новаго знанія. Вдругт ему открылось то, что рашьше было неизвъстно, что онъ, Декарть, существуеть. Открылось, стало быть было откровеніемъ, при томъ опровергающимъ всѣ основоположенія разума. Именно разумъ, усумнившійся во всемь, усумнился и въ существовании Декарта, тотъ чистый, надъиндивидуальный разумъ, то «сознаніе вообще», безъ котораго немыслимо объективное знаніе. И опровергнуть сомнінія разума разумными же доводами ильт никакой возможности. Когда Декарту «открылся свъть истины» (такъ онъ самъ говорилъ о своемъ cogito ergo sum) — это было, повторяю, дъйствительное откровеніе, которое побъдоносно разбило всъ соображенія разума. Такь что, если уже пошло на выводы, то слѣдовало бы вспомнить Тертулліана и сказать: cogito, sum; certum est quia impossibile (я мыслю, существую — несомивнно, ибо невозможно). Или иными словами: разумъ, сковавшій насъсвоими золотыми цѣнями, долженъ смириться. Въ жизни есть ивчто большее, чемъ разумъ. Сама жизнь течетъ изъ источника высшаго, чемъ разумъ. Т. е. то, чего разумъ не постигаеть, не всегда есть невозможное. И, наобороть: тамъ, гдъ разумъ констатируетъ необходимость - связи могутъ быть разорваны. Такъ долженъ былъ «истолковать» свое открытіе Декарть. Но онь хотьль «строгой науки», боялся уйти изъ «общаго всъмъ міра», гдъ только и возможна строгая наука и далъ толкованіе прямо противуположное. Т. е. не разбиль, а благословиль золотыя цепи - если хотите, -- золотого тельца, которому оть сотворенія поклоняется все развивающееся въ борьбъ за существование человъчество, точнъе все живущее на земль. Ибо все живущее думаеть только о пользь. Даже животныя обладають не только душами, но и душами разумными, вь извъстномъ смыслъ болье разумными, т. е. болъе покорными законамъ разума, чъмъ человъкъ. Въдь, если кто живеть сообразно съ природой — такъ это именно животныя. Только въ человъкъ, — и то изръдка, какъ нисходящая съ Неба благодать — проявляется пренебрегающая пользой «свободная воля», она-же именуется дерзновеніемъ, тодиа, и дерзновеніемъ нечестивымъ, ибо нарушаетъ строй, законъ (ordo τάξις, νόμος), который люди въ своей сльпоть считають предвъчнымъ. А какъ мало даеть намъ знаніе «законовъ» — явствуеть изъ «открытія» Декарта. Въдь онъ не зналъ, ва самома диль не знала, что существуеть. И сейчась, послъ его открытія, люди продолжають не знать этого - самые ученые люди. Развѣ не правы были стоики? И не столько ВЪ ТОМЪ, ЧТО πã; ἄχοών μαίνεται*), СКОЛЬКО ВЪ ТОМЪ, ЧТО СРЕДИ ВСЕГО

^{*)} Всякій неразумный человѣкъ безумствуеть.

человічества они насчитывали только трехъ, четырехъ человіжь, которыхъ не считали безумными. Правда, они, повыдимому, преувеличивали и, во всякомъ случай, не уміли угадать, кто быль настоящимъ мудрецомъ. Відь Антисеенъ не зналъ, навірное не зналъ того, что увналь Декарть. Ему, значить, нужно было еще 2000 літь жить для того, чтобъ дождаться этого открытія. И дало бы оно ему что-нибудь?

Л. Шестовъ.

(Окончаніе сльдуеть.)